

Леонид Андреев

В тумане



Леонид Андреев

В тумане

«Public Domain»

1902

Андреев Л. Н.

В тумане / Л. Н. Андреев — «Public Domain», 1902

«В тот день с самого рассвета на улицах стоял странный, неподвижный туман. Он был легок и прозрачен, он не закрывал предметов, но все, что проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-желтый цвет, и свежий румянец женских щек, яркие пятна их нарядов проглядывали сквозь него, как сквозь черный вуаль: и темно и четко. К югу, где за пологом туч пряталось ноябрьское низкое солнце, небо было светло, светлее земли, а к северу оно спускалось широкой, ровно темнеющей завесой и у самой земли становилось изжелта-черным и непрозрачным, как ночью. На тяжелом фоне его темные здания казались светло-серыми, а две белые колонны у входа в какой-то сад, опустошенный осенью, были как две желтые свечи над покойником. И клумбы в этом саду были взрыты и истоптаны грубыми ногами, и на сломанных стеблях тихо умирали в тумане запоздалые болезненно-яркие цветы...»

Леонид Николаевич Андреев

В тумане

В тот день с самого рассвета на улицах стоял странный, неподвижный туман. Он был легкий и прозрачен, он не закрывал предметов, но все, что проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-желтый цвет, и свежий румянец женских щек, яркие пятна их нарядов проглядывали сквозь него, как сквозь черный вуаль: и темно и четко. К югу, где за пологом туч пряталось ноябрьское низкое солнце, небо было светло, светлее земли, а к северу оно спускалось широкой, ровно темнеющей завесой и у самой земли становилось изжелта-черным и непрозрачным, как ночью. На тяжелом фоне его темные здания казались светло-серыми, а две белые колонны у входа в какой-то сад, опустошенный осенью, были как две желтые свечи над покойником. И клумбы в этом саду были взрыты и истоптаны грубыми ногами, и на сложенных стеблях тихо умирали в тумане запоздалые болезненно-яркие цветы.

И сколько ни было людей на улицах, все торопились, и все были сумрачны и молчаливы. Печален и страшно тревожен был этот призрачный день, задохнувшийся в желтом тумане.

В столовой уже пробило двенадцать часов, потом коротко отбило половину первого, а в комнате Павла Рыбакова было темно, как в сумерках, и на всем лежал отраженный, исчерна-желтый отсвет. От него желтели, как старая слоновая кость, тетради и бумаги, разбросанные по столу, и нерешенная алгебраическая задача на одной из них со своими ясными цифрами и загадочными буквами смотрела так старо, так заброшенно и ненужно, как будто много скучных лет пронеслось над нею; желтело от него и лицо Павла, лежавшего на кровати. Крепкие, молодые руки его были закинута за голову и обнажились почти до локтя; раскрытая книжка, корешком вверх, лежала на груди, и темные глаза упорно глядели в лепной раскрашенный потолок. В пестроты и грязных тонах его окраски было что-то скучное, надоедливое и безвкусное, напоминавшее о десятках людей, которые жили в этой квартире до Рыбаковых, спали, говорили, думали, делали что-то свое – и на все наложили свою чуждую печать. И эти люди напоминали Павлу о сотнях других людей, об учителях и товарищах, о шумных и людных улицах, по которым ходят женщины, и о том – самом для него тяжелом и страшном, – о чем хочется забыть и не думать.

– Скучно... Ску-у-чно! – протяжно говорит Павел, закрывает глаза и вытягивается так, что носки сапог касаются железных прутьев кровати. Углы густых бровей его скосились, и все лицо передернуло гримаса боли и отвращения, странно исказив и обезобразив его черты; когда морщины разгладились, видно стало, что лицо его молодо и красиво. И особенно красивы были смелые очертания пухлых губ, и то, что над ними по-юношески не было усов, делало их чистыми и милыми, как у молоденькой девушки.

Но лежать с закрытыми глазами и видеть в темноте закрытых век все то ужасное, о чем хочется забыть навсегда, было еще мучительнее, и глаза Павла с силою открылись. От их растерянного блеска в лице его появилось что-то старческое и тревожное.

– Бедный я малый! Бедный я малый! – вслух пожалел он себя и повернул глаза к окну, жадно ища света. Но его нет, и желтый сумрак настойчиво ползет в окна, разливается по комнате и так ясно ощутим, как будто его можно осязать пальцами. И снова перед глазами развернулся в высоте потолок.

Карниз потолка был лепной и изображал русское село: углом вперед стояла хата, каких никогда не бывает в действительности; рядом застыл мужик с приподнятой ногою, и палка в руках была выше его, а он сам был выше хаты; дальше кривилась малорослая церковь, а возле нее выпирала вперед огромная телега с такой маленькой лошадию, как будто это была не лошадь, а гончая собака. И морда у нее была острая, как у собаки. Потом опять в том же порядке: хата, большой мужик, церковь и огромная телега, и так кругом комнаты. И все это

было желтое на грязно-розовом фоне, уродливое и скучное, и напоминало не деревню, а чью-то печальную и лишенную смысла жизнь. Противен был мастер, который лепил деревню и не дал ей ни одного дерева.

– Хоть бы завтракать скорее! – прошептал Павел, хотя ему совсем не хотелось есть, и нетерпеливо повернулся на бок. При движении книга свалилась на пол и листы ее подвернулись, но Павел не протянул руки, чтобы поднять ее. На корешке золотом по черному было напечатано: «Бокль. История цивилизации», и это напоминало о чем-то старом, о множестве людей, которые испокон веков хотят устроить свою жизнь и не могут; о жизни, в которой все непонятно и совершается с жестокой необходимостью, и о том печальном и давящем, как совершенное преступление, о чем не хотел думать Павел. И так захотелось света, широкого и ясного, что даже заломило в глазах. Павел вскочил, обошел валявшуюся книжку и начал дергать драпри у окна, стараясь раздвинуть их как можно шире.

– А, черт! – ругался он и отбрасывал материю, но, тяжелая, она тупо падала назад прямыми и равнодушными складками. Внезапно устав и потеряв всю энергию, Павел лениво отодвинул ее и сел на холодный подоконник.

Туман стоял, и небо за серыми крышами было желто-черное, и тень от него падала на дома и мостовую. Неделию тому назад выпал первый непрочный снег, растаял, и с тех пор на мостовой лежала липкая и серая грязь. Местами мокрые камни отражали черное небо и блестели косым и темным блеском и по ним, вздрагивая и колыхаясь, катились экипажи. Грохота наверху не было слышно, – он замирал в тумане, бессильный подняться над землею, и это бесшумное движение под черным небом, среди темных, промокших домов, казалось бесцельным и скучным. Но среди идущих и едущих были женщины, и их присутствие давало картине сокровенный и тревожный смысл. Они шли по какому-то своему делу и были, казалось, такие обыкновенные и незаметные; но Павел видел их странную и страшную обособленность: они были чужды всей остальной толпе и не растворялись в ней, но были как огоньки среди тьмы. И все было для них: улицы, дома и люди, и все стремилось к ним, жаждало их – и не понимало. Слово «женщина» было огненными буквами выжжено в мозгу Павла; он первым видел его на каждой развернутой странице; люди говорили тихо, но, когда встречалось слово «женщина», они как будто выкрикивали его, – и это было для Павла самое непонятное, самое фантастическое и страшное слово. Острым и подозрительным взглядом он прослеживал каждую из женщин и смотрел так, будто она вот сейчас подойдет к дому и взорвет его со всеми людьми или сделает что-нибудь еще более ужасное. Но когда он случайно наткнулся взором на хорошенькое женское личико, он весь подтянулся, сделал красивое и привлекательное лицо и приказал глазами, чтобы она обернулась, взглянула на него. Но она не обернулась, и опять в груди стало пусто, темно и страшно, как в вымершем доме, сквозь который прошла угрюмая чума, убила все живое и досками заколотила окна.

– Ску-у-чно! – протяжно сказал Павел и отвернулся от улицы.

В столовой, рядом, давно уже ходили, разговаривали и стучали посудой. Потом все затихло, и послышался хозяйский голос Сергея Андреича, отца Павла, горловой, снисходительный басок. При первых его округлых и приятных звуках будто пахнуло хорошими сигарами, умной книгой и чистым бельем. Но теперь в нем было что-то надтреснутое и покоробленное, словно и в гортань Сергея Андреича проник грязно-желтый, скучный туман.

– А юноша наш еще изволят почивать?

Ответа матери Павел не слышал.

– И к обедне в училище, конечно, ходить не изволили?

Ответа опять не было слышно.

– Ну, конечно, – продолжал отец с насмешкою, – обычай устарелый и...

Окончания фразы Павел не слышал, так как Сергей Андреич повернулся; но было сказано, вероятно, что-нибудь смешное, и Лиля звонко захохотала. Когда отец Павла имел про-

тив него какое-нибудь тайное неудовольствие, он бранил его за то, что в праздники он поздно встает и не ходит к обедне, хотя сам к религии был совершенно равнодушен и не был в церкви около двадцати лет, – с тех пор как женился. И с самого лета, когда они жили на даче, он имел что-то против Павла, и тот думал, что он догадывается. Но теперь упрямо решил:

– Пусть его!

Взяв со стола тетрадку, он сделал вид, что читает. Но глаза его враждебно и сторожко были направлены к столовой, как у человека, который привык скрываться и постоянно ждет нападения.

– Позовите Павла! – сказал Сергей Андреич.

– Павел! Павлуша! – позвала мать.

Павел быстро встал и, вероятно, сделал себе очень больно: он перегнулся, лицо его искажилось гримасой страдания, и руки судорожно прижались к животу. Медленно он выпрямился, стиснул зубы, от чего углы рта притянулись к подбородку, и дрожащими руками оправил куртку. Потом лицо его побледнело и потеряло всякое выражение, как у слепого, и он вышел в столовую, шагая решительно, но сохраняя в походке следы испытанной жестокой боли.

– Что делал? – коротко спросил Сергей Андреич: у них не принято было здороваться по утрам.

– Читал, – так же коротко ответил Павел.

– Что?

– Бокля.

– То-то, Бокля, – сказал Сергей Андреич, с угрозой, через пенсне, глядя на сына.

– А что? – решительно и вызывающе ответил Павел и посмотрел отцу прямо в глаза.

Тот помолчал и многозначительно бросил:

– Ничего.

Тут вмешалась Лилечка, которой стало жаль брата:

– Павля, ты вечером будешь дома?

Павел молчал.

– Кто не отвечает, когда его спрашивают, тот обыкновенно называется невежей. Как ваше мнение на этот счет, Павел Сергеевич? – спросил отец.

– Охота тебе, Сергей Андреич! – вмешалась мать. – Ешь, а то котлеты остынут. Какая ужасная погода, хоть огни зажигай! И не знаю, как я поеду.

– Буду... – ответил Павел Лилечке, а Сергей Андреич поправил пенсне и сказал:

– Меланхолии этой я не выношу, мировой скорби... Порядочный мальчик должен быть бодр и весел.

– Нельзя, чтобы всегда было весело, – ответила Лилечка, которой всегда было весело.

– Я не требую, чтобы люди насильно веселились. Ты отчего не ешь? Тебя спрашиваю, Павел!

– Не хочу.

– Отчего не хочешь?

– Аппетита нет.

– А вчера где вечером был? Шатался?

– Дома был.

– То-то, дома!

– А где же мне быть? – дерзко спросил Павел.

Сергей Андреич ответил с ядовитой вежливостью:

– Откуда же мне знать все места, – он подчеркнул слово «места», – которые изволят посещать Павел Сергеевич? Павел Сергеевич взрослый; у Павла Сергеевича скоро усы вырастут; Павел Сергеевич, может, и водку пьет, – почему я знаю?

Завтрак продолжался молча, и все, на что падал свет из окна, казалось желтым и странно угрюмым. Сергей Андреич внимательно и испытующе глядел в лицо Павла и думал: «И под глазами круги... Но неужели это правда, и он близок с женщинами – такой мальчишка?»

Этот странный и мучительный вопрос, продумать который до конца у Сергея Андреича не хватает силы, явился недавно, летом, и он живо помнит, как это произошло, и никогда не забудет. За маленьким сарайчиком, где была густая трава и белая березка бросала прохладную синюю тень, он случайно увидел надорванный и скомканный листок бумаги. Было в этом листке что-то особенное и тревожное: так рвут и комкают бумаги, которые возбуждают ненависть и гнев, и Сергей Андреич поднял ее, расправил и посмотрел. Это был рисунок. Сперва он не понял, улыбнулся и подумал: «Это Павлов рисунок! Славно он рисует!» Потом повернул бумагу боком и ясно различил безобразно-циничную и грязную картинку.

– Что за гадость! – сказал он сердито и бросил бумажку.

Минут через десять он вернулся за нею, понес ее к себе в кабинет и долго рассматривал, стараясь решить едкую и мучительную загадку: рисовал ли это Павел, или кто-нибудь другой? Он не мог допустить, чтобы такую грязную, пошлую вещь мог нарисовать Павел и, рисуя, знать все то развратное и мерзкое, что в ней было. В смелости линий видна была опытная и развращенная рука, без колебаний подходившая к самому сокровенному, о чем неиспорченным людям стыдно думать; в старательности, с какой рисунок исправлялся резинкой и подцвечивался красным карандашом, была наивность глубокого и бессознательного падения. Сергей Андреич смотрел и не верил, чтобы его Павел, его умный и развитой мальчик, все мысли которого он знает, мог своею-рукою, загорелою рукою крепкого и чистого юноши, рисовать такую гадость и знать и понимать все то, что он рисует. И так как очень было страшно думать, что это сделал Павел, то решил, что это кто-нибудь другой; но бумажку спрятал. И когда увидел Павла, соскочившего с велосипеда, веселого, живого, еще полного чистых запахов полей, по которым он носился, – он еще раз решил, что это не Павел сделал, и обрадовался.

Но радость скоро прошла, и уже через полчаса Сергей Андреич смотрел на Павла и думал: кто этот чужой и незнакомый юноша, странно высокий, странно похожий на мужчину? Он говорит грубым и мужественным голосом, много и жадно ест, спокойно и независимо наливает в стакан вино и покровительственно шутит с Лилей. Он называется Павлом, и лицо у него Павла, и смех у него Павла, и когда он обгрыз сейчас верхнюю корку хлеба, то обгрыз ее, как Павел, – но Павла в нем нет.

– А сколько тебе лет, Павел? – спросил Сергей Андреич. Павел засмеялся.

– Старик уже я, папаша! Скоро восемнадцать.

– Ну, делегат еще до восемнадцати, – поправила мать. – Еще только шестого декабря будет восемнадцать.

– А усов нет! – сказала Лиля.

И все стали шутить, что у Павла нет усов, и он притворялся, что плачет; а после обеда налепил на губу ваты и говорил старческим голосом:

– А где моя старуха?

И ходил как расслабленный. И тут еще Лиля заметила, что Павел что-то особенно весел; после чего Павел нахмурился, снял усы и ушел в свою комнату. И с тех пор Сергей Андреич искал прежнего милого, хорошо знакомого мальчика, наткнулся на что-то новое и загадочное и мучительно недоумевал.

И еще новое узнал он тогда в Павле: то, что сын его постоянно переживает какие-то настроения: один день бывает весел и шаловлив, а то по целым часам хмурится, становится раздражителен и несносен, и хоть и сдерживается, но видно, что страдает от каких-то неведомых причин. И было очень тяжело и неприятно видеть, что близкий человек печален, и не знать причин, и от этого близкий человек становился далеким и чужим. Уже по одному тому, как входил Павел, как он без аппетита пил чай, крошил пальцами хлеб, а сам смотрел в сторону,

на соседний лес, отец чувствовал его дурное настроение и возмущался. И ему хотелось, чтобы Павел заметил это и понял, какую неприятность делает он отцу своим дурным настроением; но Павел не замечал и, кончив чай, уходил.

– Куда ты? – спрашивал Сергей Андреич.

– В лес.

– Опять в лес! – сердито замечал отец.

Павел слегка удивлялся:

– А что? Ведь я каждый день в лес хожу.

Отец молча отвертывался, а Павел уходил, и по его широкой, спокойно колышущейся спине видно было, что он даже не задумался о том, почему сердится отец, и совсем забыл о его существовании.

И уже давно Сергей Андреич хотел решительно и откровенно поговорить с Павлом, но слишком мучителен был предстоящий разговор, и он откладывал его со дня на день. А с переездом в город Павел стал особенно мрачен и нервен, и Сергей Андреич боялся за себя, что не сумеет говорить достаточно спокойно и внушительно. Но в этот день, за долгим и скучным завтраком, решил, что сегодня же поговорит. «Быть может, он просто влюблен, как влюблены бывают все эти мальчишки и девчонки, – успокаивал он себя. – Вон и Лилька влюблена в какого-то Авдеева; а я и не помню, какой он. Кажется, гимназист».

– Лиля! Авдеев сегодня будет? – спросил Сергей Андреич с усиленным, подчеркнутым равнодушием.

Лиля испуганно взмахнула длинными ресницами, выронила из рук грушу и прошептала:

– Ах!.. – Потом полезла под стол за грушей, и когда вернулась оттуда, то была вся красная, и даже голос ее был как будто красный. – Тинов будет, Пospelов будет... и Авдеев тоже будет.

В комнате Павла стало немного светлее, и лепная деревня на потолке выступила резче и глядела с тупым и наивным самодовольством. Павел сердито отвернулся и взял книжку, но скоро положил ее к себе на грудь и стал думать о том, что сказала Лилечка: гимназистки придут. Это значит, что придет и Катя Реймер – всегда серьезная, всегда задумчивая, всегда искренняя Катя Реймер. Эта мысль была как огонь, на который упало его сердце, и со стоном он быстро повернулся и уткнулся лицом в подушку. Потом, так же быстро приняв прежнее положение, он сдернул с глаз две едкие слезинки и уставился в потолок, но уже не видел ни большого мужика с большой палкой, ни огромной телеги. Он вспомнил дачу и темную июльскую ночь.

Темная была эта ночь, и звезды дрожали в синей бездне неба, и снизу гасила их, подымаясь из-за горизонта, черная туча. И в лесу, где он лежал за кустами, было так темно, что он не видел своей руки, и порой ему чудилось, что и самого его нет, а есть только молчаливая и глухая тьма. Далеко во все стороны расстился мир, и был он бесконечный и темный, и всем одиноким и скорбным сердцем чувствовал Павел его неизмеримую и чуждую громаду. Он лежал и ждал, когда по тропинке пройдет Катя Реймер с Лилечкой и другими веселыми и беззаботными людьми, которые живут в том, чуждом для него мире и чужды для него. Он не пошел с ними, так как любил Катю Реймер чистой, красивой и печальной любовью, и она не знала об этой любви и никогда не могла разделить ее. И ему хотелось быть одному и возле Кати, чтобы глубже почувствовать ее далекую прелесть и всю глубину своего горя и одиночества. И он лежал в кустах, на земле, чужой всем людям и посторонний для жизни, которая со всею своею красотой, песнями и радостью проходила мимо него, – проходила в эту июльскую темную ночь.

Он долго лежал, и тьма стала гуще и чернее, когда далеко впереди послышались голоса, смех, хрустение сучков под ногами, и ясно стало, что идет много молодого и веселого народа. И все это надвигалось толпою веселых звуков и стало совсем близко.

– Ох, батюшки! – говорила Катя Реймер густым и звучным контральто. – Да тут голову расшибешь. Тинов, светите!

Из тьмы пропищал странный и смешной голос полишинеля:

– Спички потерял, Катерина Эдуардовна!

Среди смеха прозвучал другой голос, молодой и сдержанный бас:

– Позвольте, Катерина Эдуардовна, я посвечу!

Катя Реймер ответила, и голос ее был серьезный и изменившийся:

– Пожалуйста, Николай Петрович!

Спичка сверкнула и секунду горела ярким, белым светом, выделяя из мрака только державшую ее руку, как будто последняя висела в воздухе. Потом стало еще темнее, и все со смехом и шутками двинулись вперед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.